

А. Д. Шмелев
Москва, Россия

A. D. Shmelev
Moscow, Russia

**ВСЕГДА ЛИ НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ
«ЛИНГВОНАРЦИССИЗМА»?**

**RUSSIAN LINGUISTICS:
ALLEGED NARCISSISM IN LANGUAGE**

Аннотация. Критический отклик на статью А. В. Павловой и М. В. Безродного «Хитрушки и единорог».

Abstract. A critical review of «Khitrushki and unicorn» by Anna Pavlova and Michail Bezrodnyj is presented.

Ключевые слова: культурная семантика; концептуальный анализ; языковая картина мира.

Key words: cultural semantics; conceptual analysis; linguistic worldview.

Сведения об авторе: Шмелев Алексей Дмитриевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий Отделом культуры русской речи в Институте русского языка Российской академии наук, профессор кафедры русского языка.

About the author: Shmelev Alexei Dmitrievich, Doctor of Philology, Professor, Head of Department of Linguistic Standards of Russian at the Institute of the Russian Language, Russian Academy of Sciences, Professor of Russian Linguistics.

Место работы: Московский педагогический государственный университет.

Place of employment: Moscow Pedagogical State University.

Контактная информация: Институт русского языка Российской академии наук, Волхонка 18/2, Москва 119019, Россия.

e-mail: smelev.alexei@gmail.com.

Статья Анны Павловой и Михаила Безродного, как это и сказано в предуведомлении, представляет собою переработку их же статьи «Хитрушки и единорог: образ русского языка от Ломоносова до Вежбицкой», опубликованной в № 31 журнала *Toronto Slavic Quarterly* [Павлова, Безродный 2010] (в № 32 того же журнала опубликован английский перевод этой статьи [Pavlova, Bezrodnyj 2010]). Она уже тогда производила довольно странное впечатление, так что полемизировать с ней было затруднительно, тем более что в самой статье не разбирался ни один языковой пример и разговор рисковал стать беспредметным. Однако мне представилось, что у читателей статьи могло создаться превратное представление о реальной ситуации в современной российской лингвистике, и это заставило меня написать комментарий к материалу А. Павловой и М. Безродного (также опубликованный в *Toronto Slavic Quarterly*: http://www.utoronto.ca/tsq/31/tsq31_disput_shmelev.pdf); данная публикация представляет собою отклик на новую редакцию их статьи.

Судя по аннотации к статье А. Павловой и М. Безродного, авторы пытаются «дать в ней обзор постсоветских российских публикаций, выполненных в русле гипотезы лингвистической относительности» (имеется в виду знаменитая „гипотеза Сепира — Уорфа“). Авторы этих публикаций А. Павлова и М. Безродный называют «неогумбольдтианцами» и «сторонниками ГЛО». Ярлык «неогумбольдтианцы» слишком расплывчат, а сторонники гипотезы Сепира — Уорфа среди современных российских лингвистов мне неизвестны. Однако А. Павлова и М. Безродный упоминают ряд известных исследователей, среди которых наиболее авторитетными, несомненно, являются Ю. Д. Апресян и А. Вежбицка. Отсюда ясно, что речь идет о работах, ставящих целью реконструкцию языковой картины мира и ее соотнесение с особенностями культуры, обслуживаемой этим

языком. Обзор таких работ был недавно предпринят австралийской исследовательницей русского происхождения Анной Гладковой [Гладкова 2010: 13—18]. В области изучения значения русских языковых единиц с последующей их культурной интерпретацией Анна Гладкова выделяет три направления, идейно и методологически связанные друг с другом: (1) Московская семантическая школа интегрального описания языка и системной лексикографии, возглавляемая Ю. Д. Апресяном (МСШ); (2) Анна Вежбицка и ее коллеги, применяющие метод «естественного семантического метаязыка» (ЕСМ); (3) группа московских исследователей, которую Анна Гладкова называет «московская группа культурной семантики» (по отношению к данной группе используется также обозначение «новомосковская школа концептуального анализа» — см., напр.: [Шмелев 2004]; в рецензии на нашу книгу по отношению к этому направлению исследований используется выражение «московская школа этнолингвистики» — см.: [Беликов 2006]). И действительно, именно эти три направления рассматриваются и подвергаются критике в статье А. Павловой и М. Безродного. (Между названными направлениями нет непроходимой границы, поэтому один и тот же автор может публиковаться в сборниках, принадлежащих к любому из этих направлений. Так, Ирина Левонтина, которую Анна Гладкова упоминает среди членов «московской группы культурной семантики», является одним из постоянных участников всех сборников МСШ, выходящих под руководством Ю. Д. Апресяна; печаталась она и в сборниках, посвященных применению ЕСМ.)

Впрочем, в своем «обзоре», наряду с работами, выполненными в рамках указанных направлений, А. Павлова и М. Безродный цитируют работы исследователей, принадлежащих к иным научным школам или не принадлежащих ни к каким; при этом отбор рассматриваемых произведений осу-

ществлен, насколько можно судить, довольно бессистемно. Так, в частности, они включают в рассмотрение, среди прочего, авторефераты когда-то защищенных и с тех пор благополучно забытых кандидатских диссертаций и работы, имеющие лишь косвенное отношение к лингвистике (а иногда не имеющие никакого). Цитаты, которыми они оперируют, также подобраны таким образом, что никакого представления о состоянии российской лингвистики вообще дать не могут. Так, в качестве «образца выводов» рассматриваемых работ они приводят такие высказывания, как «русские — „смелые, безответственные, фаталисты, добрые, бескорыстные, совестливые“, а французы — „страшливые, ответственные, материалисты, корыстные, прагматичные, опирающиеся на законы“». Ясно, что такие высказывания никак не могут считаться «выводом» (да еще и образцовым), сделанным на основе лингвистического исследования.

Впрочем, начинают А. Павлова и М. Безродный довольно издавна и с сюжета, не имеющего отношения к лингвистике: они упоминают о некоторых постмодернистских акциях в современной России, вроде воздвижения «памятника русскому языку». Отметим осведомленность авторов: полагаю, едва ли кто-то из российских лингвистов обратил внимание на эту новость. Памятник, как сообщают А. Павлова и М. Безродный, представлял собою многогранник с известной цитатой из стихотворения в прозе Ивана Тургенева: «О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» Соответственно, они переходят к рассмотрению этой цитаты и, характеризуя ее как проявление «лингвонарциссизма» (и даже как «классику лингвонарциссистского жанра»), обнаруживают его проявления и в других текстах и делают вывод, что именно «лингвонарциссизмом» объясняются и рассматриваемые работы по семантике русского языка. (Надобно заметить, что такое «объяснение» может быть довольно универсальным. Исследование русской фонетики можно было бы объяснить тем, что фонетист упивается звучностью русских слов, интерес к словообразованию — тем, что исследователь любит богатые словообразовательными возможностями русского языка, синтаксические исследования — восторгом по поводу гибкого русского синтаксиса. Других мотивов научного изучения русского языка подход А. Павловой и М. Безродного не предусматривает.)

Попутно следует заметить, что в качестве иллюстрации тезиса, что «постсоветский портрет русского языка живо напоминает его прежние изображения», А. Павлова и М. Безродный привели лишь два примера. Один из них — так называемая «новая хронология» А. Т. Фоменко, которую никак нельзя считать «направлением гуманитарной мысли»; другой — газетное интервью с профессором университета Эмори в Атланте (штат Джорджия) Михаилом Эпштейном, причем авторы никак не поясняют, почему мнение, высказанное американским профессором, они считают распространенным в современном российском обществе.

Попытаюсь воспроизвести ход рассуждений А. Павловой и М. Безродного, хотя уследить за их

ассоциациями не всегда легко. Неустранимый дефект современных исследований в рамках рассматриваемых направлений состоит в том, что их авторы некритически следуют за Э. Сепиром и особенно Б. Уорфом, не учитывая того, что доказательная база их построений давно опровергнута. Российские исследователи, кроме того, по утверждению А. Павловой и М. Безродного, столь же некритически воспринимают лингвистические работы Анны Вежбицкой и ее последователей, хотя на Западе они «производят впечатление анахроничных и маргинальных». Поэтому и работы российских исследователей направлены на изучение фантомов и не имеют никакой научной ценности.

В связи с гипотезой Сепира — Уорфа в своей статье в «Toronto Slavic Quarterly» А. Павлова и М. Безродный указывали на «ошибочность представлений Уорфа о языке хопи... и ставшего хрестоматийным утверждения о многочисленных наименованиях снега в языке эскимосов» и писали, что «через десять лет после разоблачения этой выдумки» Е. В. Падучева «утверждает: „...В эскимосском языке есть много названий для снега“». Высказывания А. Павловой и М. Безродного по этому поводу заставляют вспомнить известный афоризм Козьмы Прутков о тех, кто, не зная «законов языка ирокезского», делает «по сему предмету» суждения, и, очевидно, не случайно они устранили из отредактированного текста статьи рассуждения об эскимосских названиях снега (однако суждение о языке хопи сохранилось). Но никак нельзя согласиться с утверждением А. Павловой и М. Безродного, будто в западной лингвистике «к 1980-м гг. интерес к ГЛО угасает». На самом деле, именно начиная с конца 1980-х гг. интерес к гипотезе Сепира — Уорфа заметно возрос в связи с исследованиями в области когнитивной лингвистики. Можно упомянуть вышедшую в 1987 г. знаменитую книгу Джорджа Лакоффа «Women, Fire and Dangerous things: What categories reveal about the mind» [Lakoff 1987]; но и в последующие годы не прекращался поток публикаций, прямо или косвенно посвященных обсуждению гипотезы Сепира — Уорфа. Утверждение об ослаблении интереса к этой гипотезе в западной лингвистике можно объяснить неосведомленностью авторов, а не сознательным искажением действительности. Однако не удается выяснить, на чем основано их утверждение, что в российской лингвистике в постсоветское время гипотеза Сепира — Уорфа «становится весьма влиятельной доктриной» и наблюдается «рост числа публикаций, в которых соответствующие термины и ссылки выполняют исключительно декоративную функцию» (авторы даже пишут, что «Сепир — Уорф попросту сменили Маркса — Энгельса»). Что это за публикации, установить не удается: ссылок нет (и тем более нет статистических подсчетов, которые свидетельствовали бы о «росте» числа таких публикаций). Такая безответственность авторов особенно впечатляет на фоне множества нерелевантных ссылок и цитат, которыми пестрит их статья.

Попутно А. Павлова и М. Безродный указывают, что подход, характерный для тех, кого они называют «неогумбольдтианцами», встречался еще

в сочинениях «лингвистов-славянофилов», и сетуют, что «ни Вежбицкой, ни ее последователям эта страница истории российской лингвистики не известна». Здесь остается порадоваться, что это замечание (кстати, замечание несправедливое; скажем, в статье Ирины Левонтиной «Откуда есть пошла русская душа?» [Левонтина 2005] разбирается история формирования мифа об особенностях «русской души» и наряду с немецкими источниками делаются ссылки на русских авторов, формулировавших стереотипы «русского национального характера») высказано по адресу российских лингвистов не в те годы, когда оно прочитывалось бы как обвинение в низкопоклонстве перед Западом и могло бы повлечь за собою весьма неприятные последствия для тех, кому оно адресовано. Справедливым оно от этого, впрочем, не становится. Славянофилы внесли значительный вклад в историю русской мысли; некоторые из них оставили свой след и в истории лингвистики (учение Константина Аксакова о русском глаголе иногда упоминается грамматистами и в наше время); однако их соображения в области лингвистической семантики, как правило, довольно наивны. Не случайно и американские когнитивные лингвисты часто ссылаются на Сепира и Уорфа, реже на Гумбольдта и практически никогда — на российских славянофилов. (При этом любопытно, что сами А. Павлова и М. Безродный почему-то не упоминают работы Л. В. Щербы, хотя учение о языковой картине мира восходит в первую очередь к его идеям. Это касается как наблюдений относительно отличий наивной картины, отраженной в языке, от научных представлений о тех же самых предметах, так и проницательных замечаний относительно лингвоспецифичности различных языковых картин мира (напомним указание Л. В. Щербы на различие коннотаций русского слова *вода* и французского *eau*).)

Еще удивительнее то, что авторы относят к поборникам гипотезы лингвистической относительности Анну Вежбицку (они так и пишут: «ГЛО в версии Вежбицкой»). Это трудно воспринять иначе как аберрацию: основное содержание лингвистических исследований А. Вежбицкой заключается в поисках семантических универсалий, определяющих мышление всех людей и смысл того, о чем они говорят, каким бы языком они ни пользовались. Красной нитью через все ее работы проходит мысль, что, сколь бы лингвоспецифичной ни была семантика анализируемой языковой единицы, она может быть истолкована посредством единого универсального семантического метаязыка.

Утверждение, что работы Анны Вежбицкой «производят на западных лингвистов впечатление анахроничных и маргинальных» (в английском переводе сказано еще более хлестко: “rather unprofessional”), приходится оставить на совести А. Павловой и М. Безродного. Эта оценка не является в западной лингвистике ни общепринятой, ни господствующей (примечательно также, что А. Павлова и М. Безродный явно рассматривают «Запад» как некую важную инстанцию, которая единодушно раздает оценки, не подлежащие обжалованию). Впрочем, эта оценка может пока-

заться еще довольно мягкой по сравнению с тем, что можно иногда встретить в околонучной русскоязычной печати (В своем отклике на первоначальную редакцию статьи А. Павловой и М. Безродного я привел в качестве иллюстрации следующее высказывание: «Вежбицкая — талантливый филолог и кропотливый исследователь. Тем опаснее страшноватая каббалистика ее семантических примитивов, когда бесстрастная констатация межъязыковых соответствий подменяется фанатическим поиском доказательств, удовлетворяющих снедающую ее русофобию» [Овсянников 2006] Любопытно, что А. Павлова и М. Безродный с готовностью воспроизвели цитату в новой редакции своей статьи: по-видимому, она оказалась созвучна их собственному подходу. Более того, они выбрали более резкий вариант, находящийся на личном сайте Владимира Овсянникова: «...бесстрастная констатация межъязыковых соответствий подменяется фанатическим поиском доказательств, удовлетворяющих» (в украинском журнале выражение «снедающую ее русофобию», вероятно, сочли недостаточно академичным). При этом примечательно, что даже А. Павлова и М. Безродный воздержались от цитирования продолжения (также опущенного в журнальной публикации статьи В. Овсянникова): «Примерно таким же способом русскую душу исследовали в нацистских концлагерях». При этом в библиографии к статье В. Овсянникова нет ни одной (!) работы А. Вежбицкой, а вся статья посвящена полемике с американской переводчицей и исследовательницей Линн Виссон, автором книги «Русские проблемы в английской речи». В. Овсянников, «высоко оценивая талант автора, ее вклад в переводоведение, огромный опыт синхрониста ООН, а также юмор и личное обаяние», полагает, что она находится под вредным влиянием А. Вежбицкой. По его мнению, «только американский менталитет с его детской наивностью и склонностью к идеализму может быть объяснением того, что такой исследователь, как Линн Виссон, безоговорочно поверил в искренность „поисков русской души“ Вежбицкой».).

Пытаясь хоть как-то создать впечатление единодушного скепсиса западных лингвистов по поводу теории Анны Вежбицкой, авторы в сноске упомянули несколько статей с критическими замечаниями по адресу ее лингвистических работ, но, по-видимому, почувствовали, что этого мало. Поэтому в новой редакции своей статьи они дополнили список рецензий на нашу книгу [Келли 2007], назвав нас «российскими учениками Вежбицкой». Не вдаваясь в некоторую странность такой квалификации, отмечу, что автор рецензии, Катриона Келли, не является лингвистом, и потому некоторые ее замечания лингвистам не могут не показаться наивными. Так, напр., я привожу в статье о ‘дружбе’ наблюдение А. Вежбицкой, отметившей, что русским *друг*, *подруга*, *приятель*, *товарищ*, *знакомый* соответствует в английском языке «всеобъемлющее» слово *friend*. «...Утверждение, будто в английском есть лишь одно слово для обозначения „друга“ — *friend*, уточняемое лишь различными определениями — чушь: а как же *mate*, *pal*, *buddy*, *companion*, *girlfriend*

(в смысле близкой подруги женщины средних лет), *chum*, *mucker* и пр.?» — пишет по этому поводу К. Келли. Вообще-то А. Вежбицка упоминает практически все эти слова в своей книге "Understanding Cultures through Their Key-Words", а слово *mate* как ключевое понятие австралийской культуры подробно анализируется в этой книге в соответствующем разделе. Кроме того, забавно, что К. Келли полагает в связи с этим примером, будто все дело в том, что авторы не «провели работу» «с англоговорящими информантами». Во-первых, А. Вежбицка сама может считаться таким информантом, а во-вторых, мне почти все эти слова были знакомы без всякой «работы с информантами». Исключением было слово *mucker*, и, заглянув в словари, я убедился, что в значении 'приятель' оно является почти исключительно британским: в американском варианте английского языка, с которым я знаком лучше, оно является жаргонным обозначением грубияна (в словаре Вебстера оно толкуется так: "Slang: a coarse or vulgar person, esp. one without honor; cad"). Но самое главное то, что приведенные слова не противопоставлены слову *friend* и потому, с точки зрения языковой системы, их существование не влияет на его семантику, как не влияет на семантику русских слов наличие такого слова, как *кореш*. Поясню сказанное аналогией. По-русски (в литературной речи) говорят *есть суп* и *есть хлеб*, но *пить молоко*. Это нетривиальный факт, поскольку физические различия между первым и третьим действием не больше, чем между первым и вторым, и есть языки и диалекты, в которых распределение глаголов иное. На данный факт не влияет наличие глаголов *екушать*, *хлебать*, *жрать*, *лопать*, *хавать*, *шамать* и таких сочетаний, как *жрать водку*, и при сопоставлении системы русского языка с другими языками эти глаголы могут игнорироваться.

Конечно, К. Келли могла бы внимательно прочесть нашу книгу, и это позволило бы ей не делать некоторых спорных замечаний. Так, она говорит, что «диахроническая эволюция авторами сборника игнорируется совершенно», и в связи с этим пишет: «Зализняк несомненно справедливо утверждает, что коннотации русского слова *счастье* в отличие от английского *happiness* традиционно связаны с тем, что случается внезапно и чего „немножко стыдно“». Однако далее она продолжает: «Но в языке советской пропаганды выражение *счастливое детство* имело совсем другой смысл, а именно, состояние, ...возможность которого гарантирована советской властью (при Сталине — лично вождем)». Если бы она обратилась к моей статье «Сквозные мотивы русской языковой картины мира», вошедшей в тот же сборник, то увидела бы, что я специально обсуждаю историю советской идеологии *счастья* и отдельно останавливаюсь на выражении *счастливое детство*. К. Келли говорит, что для иллюстрации лингвоспецифичности в качестве материала для сопоставления мы берем примеры «почти исключительно из английского с редкими вкраплениями других языков». Обратившись к указателю лексем, легко увидеть, что в качестве объекта сопоставления мы использовали более 200 иноязычных единиц, из них менее половины

английских (остальные взяты из французского, немецкого, чуть реже — итальянского и латинского языков, а в отдельных случаях — польского, чешского и голландского).

Однако примечательно, что здравый смысл часто позволяет К. Келли приходиться к тем же выводам, что и мы, даже если она сама не осознает этого. Как и мы, она пишет, что «уважительное отношение к непохожести является важнейшим условием цивилизованного общества»; как и мы, она указывает на то, что разные носители языка часто воспринимают одно и то же слово по-разному (а некий «усредненный» носитель языка есть абстракция). Как и мы, она предостерегает от прямолинейных выводов о культуре на основании проведенного анализа: в самом деле, наличие в языке слова для обозначения некоторого явления может указывать как на его распространенность в соответствующей культуре, так и на его редкость (так что оно сразу обращает на себя внимание и заслуживает специального обозначения). Кроме того, ее замечания об отдельных лексических единицах подчас проницательны и дают пищу для размышления. Наконец, что самое главное, ее замечания не всегда справедливы, но неизменно конструктивны (чего, к сожалению, нельзя сказать о статье А. Павловой и М. Безродного).

Возвращаясь к работам Б. Уорфа и Анны Вежбицкой, отметим, что, как бы их ни оценивали, неоспоримым остается следующее обстоятельство. Ни язык хопи, ни эскимосские языки не являлись родными ни для Э. Сепира, ни для Б. Уорфа, так что объяснить их лингвистические теории «лингвонарциссизмом» не удастся. Точно так же не являются родными языками для Вежбицкой ни английский язык (главный объект ее исследований, которому она специально посвятила свои последние по времени работы [Wierzbicka 2006, 2010]), ни русский язык. Это заставляет усомниться в том, что гипотеза «лингвонарциссизма» универсальна для объяснения внимания лингвистов к связи языка и культуры, которую этот язык обслуживает.

По поводу работ российских исследователей А. Павлова и М. Безродный делают еще более странные утверждения. Например, они говорят, что «ГЛО в версии Вежбицкой была воспринята исследователями западнической складки как последнее слово мировой науки, и их возмущение разделили неославянофилы», и резюмируют: «гумбольдтианская доктрина утвердилась в российском академическом языковедении благодаря как неославянофилам, так и неозападникам». Вообще говоря, «западнические» или «славянофильские» взгляды исследователя не должны влиять на его научную работу при условии минимальной добросовестности. Поэтому выделение среди лингвистов «неославянофилов» и «неозападников» может восприниматься как обвинение в научной недобросовестности, а такое обвинение неплохо бы аргументировать или хотя бы иллюстрировать. Увы, А. Павлова и М. Безродный этого не делают.

Временами текст статьи А. Павловой и М. Безродного кажется совсем загадочным. Они утверждают, что «поборников ГЛО» объединяет

«преимущественный либо исключительный интерес к тем „концептам“ (или „ключевым словам“, или „ключевым понятиям“, или „лингвокультурам“), которые объявляются конститутивными для „русской ментальности“ (или „русского менталитета“, или „русской ЯКМ“, или „русской модели мира“)). Что такое «лингвокультурема», авторы не объясняют, полагая, вероятно, это самоочевидным. Однако содержание этого термина остается неясным: насколько я знаю, он не встречается ни в работах Э. Сепира, ни Б. Уорфа, ни Анны Вежицкой и ее последователей, а в тех относительно немногочисленных работах, в которых он используется, нет единства в его понимании. Станным представляется также скрытое отождествление «русской ментальности» и «русской языковой картины/модели мира». Выражение «русская ментальность» если и встречается в серьезных лингвистических работах, то только в качестве стереотипа, характерного для некоторых типов русского дискурса; что же касается до русской языковой концептуализации/картины/ модели мира, то это объект, реконструируемый на основе семантического анализа языковых единиц и понимаемый как совокупность представлений о мире, которые язык навязывает его носителям (Анна Вежицка в недавней статье, которую цитируют и А. Павлова и М. Безродный, заметила, что она бы предпочла говорить не «навязывает», а «подсказывает» [Вежицкая 2008: 179, 185]. По-видимому, ей кажется, что слово «навязывает» несет на себе некий отпечаток детерминизма. Но я полагаю, никто не думает, что языковая картина/модель мира лишает носителя языка свободы и возможности критически осмыслить представления, которые эту картину конституируют. Мне лично метафора «навязывания» (используемая, в частности, Ю. Д. Апресяном — напр., в книге: [Апресян 1995: 350]) представляется более адекватной: в метафоре «подсказывания» мне видится ситуация, когда носитель языка стал в тупик перед выбором из некоторого множества альтернативных представлений и нуждается в подсказке со стороны; метафора «навязывания» предполагает воздействие на подсознание, подобно тому как действует реклама (когда мы тоже вольны отказаться от того, что она нам «навязывает»). Впрочем, особого значения выбор метафоры здесь не имеет; я лично предпочитаю говорить, что представления, составляющие языковую картину мира, обычно некритически воспринимаются рядовыми носителями языка.). В соответствии с пониманием «новомосковской школы концептуального анализа» [Шмелев 2004], механизмы такого навязывания могут быть описаны следующим образом. Семантика языковых единиц включает разного рода «презумпции», т. е. представления о мире, которые при стандартном использовании данной единицы не попадают в ассертивный компонент высказывания и обычно проходят мимо внимания участников коммуникации (пресуппозиции, коннотации, фоновые компоненты значения). Так, если я употребляю оборот *как свинья* или *размером с вишню*, то едва ли кто-то предположит, что я думаю о свинье как об особо чистоплотном и ласковом животном или представляю себе выведенную

Мичуриным гигантскую вишню. Если носитель русского языка услышит, что «*сердце* кому-то нечто подсказывало», он не заподозрит, что речь идет о результате сложной интеллектуальной работы, а поймет эту фразу единственно правильным образом: обсуждаются мнения, к которым субъекта подталкивают чувства и интуиция (поскольку семантика слова *сердце* в русской языковой картине мира связана с эмоциональной составляющей психической деятельности). Существенно, что в процессе повседневной коммуникации на некотором языке презумпции чаще всего не ставятся под сомнение (хотя такое иногда случается в ходе метаязыковой рефлексии), а использование языковой единицы в противоречии с ее презумпциями вызывает возмущения носителей языка. Когда газета «Известия» в 2004 г. инициировала дискуссию о том, на самом ли деле всегда скверно сообщать начальству о чьих-либо предосудительных действиях, и открыла ее статьей, которая называлась «Спаси человечество могут только доносчики», то письма читателей продемонстрировали почти единодушное негативное отношение к доносите́льству (и даже в сталинское время, когда доносите́льство повсюду поощрялось, слова *донос* и *доносчик* сохраняли отрицательную окраску). Именно совокупность презумпций и задает языковую картину/модель мира. Современная семантика позволяет обнаружить, что, во-первых, разные единицы одного языка часто включают тождественные или схожие презумпции (такие презумпции можно назвать «сквозными мотивами» языковой картины мира), а во-вторых, что набор презумпций оказывается разным для разных языков. Так, в некоторых языках презумпции слов со значением «сердце» показывают, что в соответствующей языковой картине мира сердце является источником не только чувств, но и способности к пониманию.

Однако А. Павлова и М. Безродный предпочитают говорить не о ясном понятии «языковая картина мира», а о неопределенных понятиях, не имеющих непосредственного отношения к лингвистике, таких, как, например, «национальный характер». При этом они пытаются сделать вид, что никакой подмены здесь нет. Характерная цитата: «...коль скоро национальный язык, согласно ГЛО, формирует национальный характер, то сопоставление национальных языков есть одновременно сопоставление национальных характеров — нет нужды, что эти последние не упоминаются, а прячутся под псевдонимами „ментальность“, „менталитет“, „культура“...». Откуда берется представление, согласно которому «национальный язык, согласно ГЛО, формирует национальный характер», не сообщается (типичный прием манипуляции — подать спорное утверждение под видом пресуппозиции, как будто речь идет о чем-то общеизвестном). Я не помню, чтобы в лингвистических сочинениях Э. Сепира и Б. Уорфа что-то говорилось о «национальном характере» и о том, что его формирует национальный язык; если А. Павлова и М. Безродный обнаружили такое утверждение, уместно было бы сделать ссылку, а не подавать его как нечто само собою разумеющееся. А утверждение, что «культура» —

это лишь псевдоним для национального характера, особенно странно читать у авторов, один из которых работает на факультете, в название которого входит слово «культурология» (*Kulturwissenschaft*). Подозревают ли коллеги по факультету, что, занимаясь исследованием культур, они на самом деле изучают «национальные характеры»?

Мне представляется, что, вместо того чтобы рассуждать о «национальном характере», лингвист должен описывать языковые сущности; более того, в результате лингвистического анализа часто удается заменить расплывчатые, поверхностные и некорректные утверждения достоверными данными, касающимися языка и его употребления. Скажем, вместо того чтобы говорить, что «русский национальный характер» отвергается от доносов, правильно сказать, что слова *донести/доносить* <на кого-л.>, *донос* и *доносчик* имеют в русском языке отрицательную окраску. Вместо того чтобы говорить, что русским свойственно «негативное мышление», следует сказать, что правила построения русских высказываний предполагают употребление слова *нет* в ситуации, в которой американец скажет *Yes*. Вместо того чтобы утверждать (на основе «социологических опросов»), что среди россиян гораздо меньше процент респондентов чувствуют себя счастливыми, нежели среди американцев, следует отметить различие значений русского прилагательного *счастливый* и английского *happy*. Именно в этом и состоит пафос большинства работ по «культурной семантике».

Возможно, сознавая, что предложенная ими картина слишком плохо согласуется с действительностью, А. Павлова и М. Безродный предлагают различать среди работ рассматриваемых направлений «полюса эссеизма и сциентизма». К эссеистике можно было бы отнести публиковавшиеся в популярных изданиях статьи российских лингвистов, в частности статьи представителей «московской группы культурной семантики», которые печатались в 1990-х и в начале 2000-х гг. в журналах «Итоги», «Еженедельный журнал» и «Отечественные записки» (и, в еще большей мере, блестящие эссе Ирины Левонтиной, составившие ее книгу «Русский со словарем» [Левонтина 2010]). Впрочем, удивляет характеристика, которую дают этой «эссеистике» А. Павлова и М. Безродный: «пропагандируется идея русской исключительности». Ссылки, понятны, опять нет. Вместо этого А. Павлова и М. Безродный начинают говорить о «лингвострановедческих» пособиях, адресованных иностранцам. По некоторой случайности одно из четырех пособий (в новой редакции к ним добавилось пятое), поименованных в статье А. Павловой и М. Безродного, у меня есть; А. Павлова и М. Безродный относят эту книгу к «пособиям с говорящими заглавиями и подзаголовками» (речь идет о книге: [Соловьев 2002]), и есть все основания предположить, что, кроме заглавия и подзаголовков, они в этой книге ничего не читали: в противном случае придется признать, что они прибегли к сознательной подтасовке. Дело в том, что никакого отношения ни к гипотезе Сепира — Уорфа, ни к семантическому анализу как таковому, ни к лингвистике вообще эта книга

не имеет (в библиографию к ней не включена ни одна лингвистическая работа), и русского языка (кроме как в подзаголовке) она вообще не касается.

Для иллюстрации «сциентистского» полюса А. Павлова и М. Безродный цитируют высказывание Ю. Д. Апресяна: «В последнее время идея языковой картины мира была очень широко растиражирована и, к сожалению, измельчена. Некоторые авторы делают далеко идущие обобщения об этноспецифическом взгляде на мир и даже об особенностях национального характера на основе анализа нескольких изолированных примеров». Сообщив, что Ю. Д. Апресян предлагает «при определении „этноспецифичных“ языковых единиц... руководствоваться таким критерием, как их непереводаемость столь же простыми единицами других языков, и принимать во внимание „меру этноспецифичности“, которая тем больше, чем большее число единиц языка выражает „ключевую идею“ и чем более разнообразна их природа», А. Павлова и М. Безродный замечают: «Эти и подобные им предложения напоминают рекомендации по ловле единорога», — и предлагают посмотреть, «насколько состоятельна надежда» на выявление ключевых слов языковой картины мира «по приписываемым им признакам: включенность во фразеологизмы, высокая частотность и непереводаемость». Подмена кажется очевидной: во-первых, «меру этноспецифичности» Ю. Д. Апресян предлагал ввести для «ключевых идей», а не для «ключевых слов»; во-вторых, «включенность во фразеологизмы» и «высокая частотность» им вообще не упоминались (Справедливости ради следует заметить, что о частотности и включенности во фразеологизмы упоминает Анна Вежицка в книге, посвященной «ключевым словам» разных культур [Wierzbicka 1997]. Однако она специально подчеркивает, что не придает этим параметрам решающего значения, поскольку самое главное для нее — можем ли мы сказать что-то важное о данной культуре на основании семантического анализа соответствующей единицы.).

Возможно, чувствуя недостаточность иллюстративной базы, А. Павлова и М. Безродный привлекают работы, далеко выходящие за рамки рассматриваемых направлений, — лишь бы в них упоминались «концепты», или «ментальность», или «картина мира», или «лингвокультура», или «этнопсихология». Оценить качество этих работ, не обращаясь к ним непосредственно, трудно, поскольку, как уже говорилось, А. Павлова и М. Безродный уклоняются от конкретного лингвистического анализа. Можно легко поверить, что многие из них характеризуются невысоким уровнем (именно такие работы имел в виду Ю. Д. Апресян, когда говорил об «измельчании» идеи языковой картины мира). Однако ни приводимые примеры, ни комментарии не позволяют судить об этом с уверенностью (Более того, можно допустить, что в каких-то случаях мы сталкиваемся с полным непрофессионализмом или даже шарлатанством. Но возможное наличие таких публикаций не в большей мере компрометирует методы современной семантики, чем, скажем, публикация гороскопов, в которых встречаются слова «планета», «орбита», «созвездие», компрометирует ас-

трономическую науку). Скажем, А. Павлова и М. Безродный пишут, что некая не называемая ими «российская исследовательница, иллюстрирующая библеизмами свой тезис о том, что русские осуждают предательство и высоко ставят верность и чувство долга, забывает, что библеизмы не содержат в себе ничего специфически русского». Весьма вероятно, что в данном случае исследовательница действительно это забывает; однако следует учитывать, что среди библеизмов могут встретиться и лингвоспецифичные для языка-рецептора (а об этом, по-видимому, забывают А. Павлова и М. Безродный). Так, к числу библеизмов, которые получили специфичное преломление в русском языке, несомненно, относится слово *хам* и его производные (*хамство*, *хамить*, *хамский*, *хамло* — Ирина Левонтина напомнила мне, что в стихотворении Льва Лосева «Один день Льва Владимировича» лирический герой в ответ на замечание американского слависта, что в «русском языке» нет слова *sophistication*, вспоминает неперебиваемые русские слова: «Есть слово „истина“. Есть слово „воля“. / Есть из трех букв — „уют“. И „хамство“ есть. / Как хорошо в ночи без алкоголя / слова, что невозможно перевести, / бредя, пространству бормотать пустому») и отчасти слова *толпотворение* и *ипрод*.

Дальше А. Павлова и М. Безродный осуществляют еще одну подмену: они сообщают, что «неогумбольдтианцы» свои утверждения о важности для русской языковой картины мира тех или иных моральных императивов иллюстрируют паремиями. Вообще говоря, паремии плохо подходят в качестве инструмента для выявления особенностей языковой картины мира. Дело в том, что паремии употребляются в речи с разной степенью частоты; многие из них неизвестны рядовым носителям языка; их рекомендации часто противоречат одна другой; наконец, что самое важное, иллюстрируемые моральные императивы обычно содержатся в ассертивных компонентах паремий, а, как уже говорилось, языковую картину мира образуют не ассерции, а презумпции. Примечательно, что, как следует из дальнейшего текста, во многом из сказанного А. Павлова и М. Безродный отдают себе отчет, и тем не менее они говорят, что «попыткам лингвистически обосновать стереотипы русской щедрости и немецкой прижимистости противопоставляются многочисленные русские пословицы, призывающие к бережливости, и многочисленные немецкие, осуждающие скупость». Остается совершенно непонятным, какое отношение факт существования таких пословиц имеет к лингвистическому обоснованию чего бы то ни было. Кроме того, А. Павлова и М. Безродный никак не поясняют, что они понимают под выражением «лингвистически обосновать стереотипы».

Загадочным представляется следующее замечание А. Павловой и М. Безродного: «Строго следуя логике ГЛО, иллюзорными нужно было бы признать также синонимии и билингвизм». В действительности дело обстоит ровно противоположным образом: именно обсуждение синонимических рядов и практики билингвов для многих исследователей служит важным свидетельством наличия в языковых картинах мира лингвоспеци-

фичных идей. В течение многих лет в работе представителей МСШ важнейшее место занимал анализ синонимических рядов в рамках работы над «Новым объяснительным словарем синонимов русского языка»; выводы Анны Вежибицкой относительно лингвоспецифичности многих языковых единиц базировались, среди прочего, на интроспекции билингвов. Поэтому не соответствует действительности утверждение А. Павловой и М. Безродного, будто «о существовании лиц, владеющих несколькими языками, неогумбольдтианцы предпочитают не вспоминать»; напротив, опыт билингвов занимает центральное место в аргументации представителей рассматриваемых направлений. Комментируя высказывание, согласно которому билингвы владеют сразу двумя языковыми картинами мира, А. Павлова и М. Безродный саркастически замечают: «Случаи сосуществования у одного лица более чем двух ЯКМ этим автором не упоминаются и, надо надеяться, не зафиксированы». Странная надежда. Безусловно, известны люди, хорошо говорящие на трех языках, и это свидетельствует о том, что человек может владеть тремя языковыми картинами мира и в нужный момент переключаться с одной на другую. Замечание А. Павловой и М. Безродного похоже на утверждение, что один человек не может владеть фонетическими системами двух или трех разных языков. Действительно, люди, выучившие второй язык не в раннем детстве, часто говорят на нем с акцентом; но странно было бы говорить: «Случаи сосуществования у одного лица более чем двух фонетических систем, надо надеяться, не зафиксированы».

Данное заблуждение А. Павловой и М. Безродного особенно странно, поскольку они живут в окружении неродного языка. Трудно поверить, чтобы они никогда не сталкивались с несовпадением немецкой и русской языковых картин мира. Неужели они не замечали, что слово *praktisch* в рекламных объявлениях плохо переводится на русский язык (В одном из эссе из серии «Ворчалки о языке» Ирина Левонтина пишет: «В немецких магазинах женской одежды русское ухо поражает частота, с которой звучат два слова — *praktisch* и *günstig*. Конечно, русское *практичный* не вполне тождественно немецкому *praktisch*, а русское *дешевый* тем более отличается от немецкого *günstig*, но все же трудно представить себе русскую даму, которая, примеряя в магазине нарядное платье, одобрительно восклицает: „Дешево и практично!“).), что требование к человеку, которого называли *Freund*, отличается от требований, которые русские привыкли предъявлять к *другу*, а человек, сообщающий по-русски, что ему назначили *Termin*, просто оставляет немецкое слово без перевода и т. д.?

Стоило бы напомнить, что понимается под «языковой картиной мира». Упрощенно дело можно представить следующим образом. Каждый человек располагает какими-то представлениями о мире, которые составляют его индивидуальную картину мира. Эта картина мира не является объектом лингвистики. Напротив того, языковая картина мира выявляется посредством лингвистического анализа и, как уже говорилось, представля-

ет собою совокупность презумпций единиц соответствующего языка. Если человек в совершенстве владеет семантикой соответствующих единиц, значит он владеет и языковой картиной мира (или ее релевантным фрагментом).

На практике люди, пытающиеся говорить на иностранном языке, часто знают его не в совершенстве и используют иностранное слово в соответствии с презумпциями, которые имеет аналог этого слова в родном языке. Иногда это приводит к забавным результатам. Так, в соответствии с презумпциями, которые слово *adventure* имеет в американском английском, это слово часто используется в рекламе. Один из «слоганов», используемых в рекламе некоего автомобиля, был переведен на русский язык как «Наполни свой день приключениями!» Нет необходимости комментировать, как этот слоган был воспринят русской аудиторией. Конечно, можно говорить, что мы имеем дело всего лишь с переводческой неудачей; однако сам факт этой неудачи показателен и как будто свидетельствует, что языковая картина мира не является фикцией. Может оказаться так, что коммуникативной неудачи не возникает — если по каким-то причинам семантический сдвиг, происходящий при переводе, оказался нерелевантным. Так, русское прилагательное *уютный* часто можно передать посредством голландского слова *gezellig*; однако это не отменяет того факта, что русский *уют* среди прочего ассоциируется у носителей русского языка со шторами на окнах, а голландское *gezelligheid* скорее связано с представлением о чисто вымытом окне без занавесок.

Аргументы А. Павловой и М. Безродного, касающиеся принципиальной возможности перевести все, что говорится на каком-либо одном языке, на любой другой язык, также основаны на некоторой подмене. Не обсуждая вопрос о том, насколько достижима полная точность перевода, замечу, что все же следует различать ситуации, когда перевод не составляет проблемы, и ситуации, когда он требует переводческих ухищрений, а «наивный» перевод может привести к коммуникативному провалу. В некоторых случаях построения А. Павловой и М. Безродного ставят меня в тупик. Так, они пишут: «...в зависимости от того, какие именно значения многозначного слово *poshlyy* актуальны для того или иного сообщения, это слово переводится на немецкий как *kitschig*, *ordinär*, *vulgär*, *gewöhnlich*, *geschmacklos*, *niveaulos*, *spießig*, *primitiv*, *kleinkariert*, *engstirnig*, *beschränkt*, *anzüglich*, *schlüpfrig* либо как их комбинация». Неужели они думают, что проблема здесь именно в многозначности переводимого слова и каждому из значений соответствует строго один перевод — одно из приведенных слов или их комбинация?

Более того, если строго следовать логике А. Павловой и М. Безродного, ненужными или иллюзорными придется признать заимствования и семантические кальки. Действительно, зачем заимствовать или калькировать иноязычное слово, если соответствующий смысл легко выражается средствами родного языка? По этой логике, А. С. Пушкин в свое время просто поленился найти подходящий перевод для слова *vulgar*, написал

«не могу перевести» и вставил его в текст «Евгения Онегина» непереуверенным.

В некоторых случаях приходится оперировать обширными буквальными цитатами из статьи А. Павловой и М. Безродного, потому что невозможно (или, по крайней мере, очень трудно) поверить, что написанное ими написано всерьез. Цитирую: «Какая бы ситуация несовпадения языков ни рассматривалась российскими неогумбольдтианцами, ей полагается свидетельствовать о превосходстве русского языка над другими». На основании чего «полагается», не сообщается. Но само предположение, что цель лингвистического исследования может состоять в том, чтобы продемонстрировать превосходство какого-либо языка, вызывает в памяти статьи некоторых советских идеологов, объявлявших, что учение о родстве индоевропейских языков направлено исключительно на то, чтобы обосновать превосходство белой расы (Кстати, и гипотеза Сепира — Уорфа объявлялась расистской. Ср.: «...уже в конце 20-х годов он <Сепир> все более сближается с представителями расистской этнопсихологии, а такие его ученики, как Б. Уорф, используют структурные особенности некоторых языков Америки для откровенной расистской пропаганды. ... Нам это „развитие“ взглядов Сепира представляется весьма характерным для того пути, который проделала за эти годы официальная американская лженаука, все определеннее становящаяся на путь служения империализму. ... Утверждения, подобные тому, что „грамматика сама является творцом идей“, „программой и проводником индивидуальной умственной активности“, оказались лишь орудием расовой пропаганды о преимуществах народов, говорящих на языках „европейского стандарта“... Так „ученый“, „специалист по языкам американских индейцев“, ученик и последователь Сепира Б. Уорф путем подтасовки языковых фактов, путем схоластических ухищрений с „языковыми моделями“ ведет открытую расовую пропаганду» [Гухман 1954]. Эти утверждения могут считаться убедительными примерно в той же мере, что и те, которые предложили нам А. Павлова и М. Безродный.». Далее написано буквально следующее: «Если для перевода, например, слова *poshlost* приходится пользоваться одним из его контекстуальных синонимов, это демонстрирует беспрецедентную емкость русской лексемы. Если ситуация противоположна, а именно: некое понятие выражают большим количеством русских слов и небольшим — нерусских, это служит доказательством беспрецедентного богатства русского лексикона». С тем же успехом фонетист мог бы сказать, что использование в области русского вокализма меньшего числа фонологически значимых признаков по сравнению с французским вокализмом свидетельствует о «беспрецедентной емкости» русских гласных, а использование признака твердости/мягкости согласных, нерелевантного для французского языка, служит доказательством «беспрецедентного богатства» русского консонантизма. Кроме того, рассуждение можно и перевернуть: «Если одному русскому слову в переводах соответствуют разные, это свидетельствует о бедности русского лексикона; если одному

иностранному слову соответствуют разные русские слова, а общего слова в русском языке нет, это свидетельствует о неспособности русских к абстрактному мышлению». В таком рассуждении столько же логики, что и в рассуждении, которое изобрели (и почему-то приписали российским лингвистам) А. Павлова и М. Безродный, — проще говоря, логики я в нем не вижу.

Затем А. Павлова и М. Безродный возвращаются к критериям выделения «ключевых слов». Они отмечают, что среди русских существительных «судьба» занимает только 181-е место, тогда как, например, *дело* находится на 4-м, и идиом с *делом* куда больше, чем с любым из признанных ключевых слов». При этом они не сообщают, пользуются ли собственными подсчетами (тогда следовало бы указать методику подсчетов, чтобы можно было оценить степень их достоверности) или используют данные частотных словарей (тогда, в соответствии с нормами научной этики, следовало бы сообщить каких: использование чужих результатов без ссылки, даже если речь идет о частотном словаре, может считаться разновидностью плагиата). Любопытно, что в этом случае они забывают о собственном призыве учитывать многозначность: слово *дело* имеет в «Малом академическом словаре» [Словарь русского языка 1981] 14 значений, и подсчет частотности по каждому из этих значений в отдельности привел бы к снижению рейтинга. Дальнейшее рассуждение в очередной раз поставило меня в тупик. А. Павлова и М. Безродный писали (в первоначальной редакции статьи): «Однако *дело* в отличие от слов *судьба*, *удаль* и *авось* ключевым считаться не может — это противоречило бы „лингвокультурологическому“ учению о склонности русских к созерцательности». Они не пояснили смысл используемого ими прилагательного «лингвокультурологический»; думаю, не случайно прилагательное было опущено в английском переводе, в котором сказано просто: “the alleged tendency of Russian people towards contemplation.” Под лингвокультурологией обычно понимают совокупность дисциплин, изучающих язык и культуру в их взаимодействии; наряду с культурной семантикой, к ней относится описание особенностей стилей коммуникации (напр., продолжительности принятых в разных речевых общностях пауз между репликами собеседников, необходимых для того, чтобы не создавалось ощущение «перебивания») и речевого этикета (см., напр., подробное сопоставительное исследование прагматики извинения Р. Ратмайр [Rathmayr 1996] или совсем недавнюю книгу: [Ларина 2009]) и многое другое. В новой редакции статьи А. Павлова и М. Безродный опустили прилагательное и заключили в кавычки слово «учение», но так и не пояснили, где они обнаружили это «учение» (ссылки так и не появились). Тем более непонятно, что препятствует отнесению слова *дело* к числу «ключевых»: вероятно, оно таковым как раз является (по крайней мере в некоторых значениях). Тот факт, что оно пока не было объектом детального семантического анализа, скорее всего объясняется тем, что реконструкция русской языковой картины мира находится в начальной стадии, и анализу подверглись лишь

немногие слова — а именно, те, для которых наличие нетривиальных презумпций было особенно очевидно. Следующая фраза тоже не очень понятна: «Несолидно было бы считать ключевыми *матрешку* и *самовар*, т. е. слова действительно непереводаемые (отчего их и не „транслируют“, а транслитерируют), так что остается настаивать на непереводаемости слов *удаль* и *авось*». Статус критерия «несолидности» также не объяснен (в английском переводе «несолидно было бы» передано как “it would be considered as unprofessional”) (помимо этого, авторы в качестве критерия научной обоснованности упоминают «лестность». Они пишут об А. Вежицкой: «не все ее оценки, выставленные русскому характеру, сочли достаточно лестными, „т. е.“ научно обоснованными». Замечательны кавычки при обороте «т. е.» <эти кавычки, присутствовавшие в авторском варианте статьи, с которым ознакомился А. Д. Шмелев, были убраны в публикуемой версии — прим. ред.>)). Обычно лингвисты исходят из представления, восходящего к известной фразе Бодуэна де Куртене относительно того, что для лингвистического анализа слово *жопа* ничем не хуже слова *генерал*. По существу же надо пояснить, что слова, обозначающие артефакты, могут быть весьма интересны для концептуального анализа (в классической книге о концептуальном анализе Вежицка одну из четырех глав целиком посвятила словам *bike* и *car* [см.: Wierzbicka 1985]) и лингвоспецифичны (ср. наличие в русском языке слова *щи* для обозначения капустного супа или слова *чайник* в значении, соотносимом с *kettle*). Правда, слова *матрешка* и *самовар* редко употребляются в современной речи в прямом режиме (больше как условный символ «русскости»). В этом отношении слова *удаль* и *авось* на них как раз похожи; по-видимому, именно поэтому они сразу привлекли внимание лингвистов, которые редко использовали их в собственной речи и были способны взглянуть на них «отстраненно». Кроме того, слова, лингвоспецифичность которых ощущается носителями языка и которые становятся объектом метаязыковой рефлексии, часто обрастают дополнительными коннотациями, так что лингвоспецифичность их повышается (это как раз касается слов *удаль*, *авось*, *тоска*).

Далее А. Павлова и М. Безродный упрекают сторонников учения о языковой картине мира в «вере в стереотипы». Здесь опять происходит смешение понятий. Значит ли этот упрек, что А. Павлова и М. Безродный вообще отрицают существование стереотипов (и, в частности, этно-стереотипов)? Представляется, что об их существовании свидетельствуют разнообразные данные, в том числе языковые. Так, по-русски естественно говорить о *чисто немецкой пунктуальности*, но странно — о *чисто русской пунктуальности* или о *чисто немецкой бесшабашности* [см.: Плунгян, Рахилина 1996]. Может быть, А. Павлова и М. Безродный отрицают правомерность изучения стереотипов? Но такое ограничение на допустимую область научного исследования кажется весьма странным. Возможно, они отвергают гипотезу о том, что эти стереотипы могут иметь лингвистическое происхождение (по крайней мере, в некото-

рых случаях)? Но тогда разумно было бы предложить альтернативное объяснение.

Между тем гипотеза о лингвистических источниках стереотипов во многих случаях представляется весьма правдоподобной. Так, известен стереотип, согласно которому русские постоянно говорят и думают о душе (именно этот стереотип положен в основу известного анекдота о русской женщине, которая, проведя ночь с любовником, говорит ему: «А душу мою, Федя, ты так и не понял»). Кажется, что этот стереотип коррелирует с тем, что слово *душа* действительно относительно частотно в русских текстах и во многих контекстах не может быть переведено на другие языки буквально. Механизм действия или даже возникновения стереотипов хорошо иллюстрирует следующая история, рассказанная Верой Белоусовой: «Недавно я наблюдала любопытную сцену. Дело происходило на прощальной вечеринке по случаю отъезда московского математика, проработавшего в нашем университете несколько месяцев. Один из здешних профессоров задал ему очень типичный и эмоционально нейтральный вопрос: “So, were you happy in Athens?” (буквально: «Ну и как, вы были счастливы в Афинах?»). Гость удивленно пожал плечами и ответил так: “Well... What’s happiness?... I was satisfied” (буквально: «Н-ну... Что есть счастье?... Я был доволен»). После чего они с недоумением уставились друг на друга. Я почти уверена, что знаю, что происходило в эту минуту у каждого в голове. „С какой же легкостью эти американцы бросаются словом ‘счастье!’“ — думал русский. „Как же русские любят разводить философию на пустом месте!“ — думал американец. Что-то в этом роде, во всяком случае. А между тем все было значительно проще. Американское „happy“ как раз и значило „вам понравилось?“, „вы довольны?“ — о счастье как таковом там речи не шло» [Белоусова 2011]. (Точно так же стереотип гордого поляка (*кичливого ляха*), вероятно, связан с той важностью, которую *honor* (заимствованное в русский в виде *гонор*) имеет в польской языковой картине мира. Известны многочисленные примеры стереотипов, возникающих из-за несовпадения правил речевого этикета и прагматики речевой коммуникации, они приводятся множеством авторов — см., напр.: [Виссон2007; Ларина2009]. Сказанное не означает, что все этностереотипы возникают именно вследствие расхождений языковых картин мира. Лингвистические источники этностереотипов могут даже иметь чисто фонетическую природу; так, стереотип медлительности эстонцев, вероятно, связан с наличием в эстонском языке долгих и сверхдолгих слогов, с продолжительностью пауз в стандартной эстонской речи. Кроме того, многие стереотипы, по-видимому, имеют нелингвистическое происхождение: стереотип, касающийся пристрастия русских к выпивке, хотя и поддерживается языковыми данными (напр., частым употреблением уменьшительно-ласкательных суффиксов при обозначении выпивки и закуски: *водочка, селедочка, огурчики, грибочки*), скорее всего имеет неязыковой источник.)

Приведу еще одно наблюдение Веры Белоусовой, свидетельствующее, что различие презумпций у эквивалентных, казалось бы, выраже-

ний не фикция, а реальная проблема для межкультурной коммуникации: «...возьмем, к примеру, систему похвал. Во множестве американских фильмов есть какая-нибудь такая сцена: ребенок сообщает кому-нибудь из родителей о хорошей отметке за контрольную. И этот родитель, персонаж, в целом простой как правда, говорит в ответ что-нибудь вроде: “I am so proud of you!” На первый взгляд это значит именно то, что значит, но когда тот же персонаж в русском дубляже говорит: „Я так горжусь тобой!“ — это немедленно начинает порождать дополнительные смыслы. То ли родитель оказывается патологически высокопарным, то ли у ребенка были какие-то неслыханные проблемы, о которых нам почему-то не сказали. Между тем ничего этого нет. Эта похвала, по сути дела, гораздо ближе к русскому „умница!“, чем к выражению гордости. Со словом „умница“, в свою очередь, все не так просто. „Умница“ — это ‘умный человек’?“ — спрашивают меня студенты, когда видят или слышат где-нибудь это слово. „И да и нет, — говорю я. — Умного человека можно назвать умницей, но в большинстве случаев ‘умница’ значит скорее ‘well done!’“. Вообще интересно, что русские похвалы часто адресованы человеку („молодец!“, „умница!“), а американские — произведенному им действию („well done!“, „good job!“). В книгах о воспитании детей под это подведена теоретическая база, но на самом деле это изначально заложено в самом языке».

В свете всего сказанного кажутся излишними комментарии по поводу деталей, в которых А. Павлова и М. Безродный, по-видимому, вообще не отдают себе отчета. Надо ли уточнять, что языковая картина мира (понимаемая как система презумпций) различна для разных видов дискурса (напр., советской газеты, научной статьи и церковной проповеди), подвержена региональному и временному варьированию (картина мира американского английского не полностью совпадает с картиной мира австралийского английского; что касается до временного варьирования, можно заметить, что изменения в постсоветском русском языке по большей части могут быть описаны как изменения в языковой картине мира)? Надо ли в очередной раз повторять, что различие между картинами мира разновидностей одного языка, обслуживающих разные субкультуры, может быть больше, чем межъязыковые различия, и что, наоборот, часто обнаруживается значительное сходство между культурно сходными фрагментами языковых картин мира разных языков (более подробно все эти вопросы рассматриваются в книге: [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005])?

Кратко коснусь лишь некоторых моментов, которые могут вызывать недоразумения. Прежде всего, это касается общего вопроса соотношения языка и мышления, а также языка и культуры. Надоно сказать, что большинство представителей рассматриваемых направлений предпочитает не предаваться теоретизированию на этот счет, а сосредоточиваться на семантическом анализе конкретных языковых выражений. Но в целом можно сказать, что они в большей степени привержены представлению об имманентности лингвистики, нежели многие когнитивисты или психо-

лингвисты. В качестве доказательств наличия в семантике языковой единицы того или иного семантического компонента обычно принимаются собственно языковые свидетельства (языковая правильность предложения, его реальное использование в речи), а не результаты психолингвистических или нейропсихологических экспериментов. Что касается связи языка с культурой, то и она далеко не прямолинейна. Ясно, что многое в культуре непосредственно с языком не связано. С другой стороны, языковая картина мира может изучаться сама по себе, безотносительно к особенностям культуры, которую этот язык обслуживает (едва ли не в большинстве работ, выполненных в рамках МСШ, экскурсов в культуру нет. Ср. также книгу, которая знаменовала собою начало нового этапа изучения русской языковой картины мира, была посвящена лингвоспецифичным словам русского языка (напр., *далеко, вдали, вдалеке, недалеко, неподалеку, близко, вблизи, поблизости*), но не касалась соотнесения соответствующих фрагментов русской языковой картины мира с культурными особенностями: [Яковлева 1994]); но в некоторых случаях связь языка и культуры настолько очевидна, что попытка отрицать ее, вопреки этой очевидности, производила бы впечатление полной неадекватности (Так, русский глагол *тыкать* 'обращаться на *ты* к человеку, которого правила речевого этикета требуют именовать на *вы*' выражает отрицательную оценку соответствующего речевого поведения и отражает тот факт, что русский речевой этикет в определенных ситуациях требует обращения на *вы* (а не *ты*). Одновременно он «навязывает» носителям русского языка представление о недопустимости неуместного использования формы *ты*. В английском языке соответствующее разграничение (обращение на *вы* и *ты*), как известно, не проводится, и поэтому глагол *тыкать* труднопереводим на английский язык.).

В статье А. Павловой и М. Безродного чрезвычайно настойчиво обсуждается вопрос о критериях выделения «ключевых слов». Между тем особой роли эти критерии не играют, поскольку, как уже говорилось со ссылкой на А. Вежбицку, самое главное — можем ли мы сказать что-то важное о данной культуре на основании семантического анализа соответствующей единицы. Вообще говоря, необходим семантический анализ всех языковых единиц без исключения. Если семантика какой-либо единицы содержит нетривиальные презумпции относительно устройства мира, то эти презумпции могут рассматриваться как часть соответствующей языковой картины мира. Если какая-то презумпция повторяется в значении разных языковых единиц данного языка, то она принадлежит к числу «сквозных мотивов» языковой картины мира. Часто оказывается, что эти «сквозные мотивы» могут рассматриваться как дающие ключ к каким-то важным особенностям соответствующей языковой картины мира, а возможно, и культуры, обслуживаемой данным языком. Соответственно их можно отнести к числу «ключевых идей» языковой картины мира, а слова, содержащие такие презумпции, — к числу ее «ключевых слов». Таким образом, выделение

«ключевых» слов не может предшествовать семантическому анализу — оно является его результатом. (В книге [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005] проанализировано более 1000 лексических единиц (из них более 800 — русских); в книге «Языковая картина мира...» анализу подвергнуто (как можно судить по лексемному указателю) более 2500 единиц, из них более 2400 — русских. <Уж не знаю, являются ли эти единицы «ключевыми» по критериям А. Павловой и М. Безродного.> Напрасно мы ждали бы от А. Павловой и М. Безродного критического разбора или уточнения проведенного анализа: они предпочитают рассуждать в общем ключе, т. е. ни о чем.)

«Ключевые слова» часто оказываются труднопереводимыми, поскольку в иностранном языке сложно найти эквивалент, содержащий в точности те же презумпции (разумеется, перевод возможен, когда презумпциями можно пренебречь). Заметим, что неоднословные переводы не спасают дело, поскольку у свободных словосочетаний нет собственных презумпций. Если для слов, выражающих некоторую презумпцию, нет простых переводов в большинстве других языков, то соответствующая презумпция оказывается лингвоспецифичной, причем степень лингвоспецифичности тем выше, чем больше слов, с трудом поддающихся переводу, ее выражают.

Критерий частотности здесь может играть вспомогательную роль. Для языковой картины мира существенны в первую очередь общеупотребительные слова; если какая-то единица встречается в речи редко, то невелик и «удельный вес» презумпций, которые она содержит. Так, для картины мира современного русского языка едва ли важную роль играют нетривиальные презумпции слова *целомудрие*.

Выше уже говорилось, что частотность слова *душа* в русской речи, возможно, является одним из источников стереотипа 'русские все время думают и говорят о душе'. Приведем еще в качестве примера русское слово *судьба*, тем более что А. Павлова и М. Безродный высмеивают наблюдение А. Вежбицкой: «...в корпусе современного русского языка частотность слова *судьба* — 230 на миллион слов, а в корпусе современного французского языка частотность *destinée* — 27 на миллион слов». Они комментируют это высказывание следующим образом: «Иначе говоря, слово *судьба* предлагается считать высокочастотным в русской речи (а значит, ключевым для понимания мировоззрения русскоязычных) только потому, что слово *destinée* в речи франкофонов употребляется реже». Почему «иначе говоря»? Смысл высказывания А. Вежбицкой иной (и остается открытым вопрос, действительно ли А. Павлова и М. Безродный не понимают этого или сознательно передергивают): она полемизирует с Патриком Серио, который говорит, что слово *судьба* ничем не отличается от *destinée*. Вообще говоря, более удачными французскими аналогами для слова *судьба* я бы считал *destin*, *lot* и *sort* (хотя я понимаю, что, в отличие от Патрика Серио, не являюсь носителем французского языка). По-видимому, такое же впечатление создалось и у А. Павловой и М. Безродного; отсюда их комментарий: «Непонятно...,

почему сравниваются именно *судьба* и *destinée*, а не вообще русские и французские слова с соответствующей семантикой... Это было бы тем более желательно, что *судьбе* как слову ключевому не полагается иметь переводных эквивалентов». Это можно было бы считать единственным дельным замечанием в их статье, но ответ на их недоумение прост: сравниваются *судьба* и *destinée*, потому что Серио предложил в качестве эквивалента для слова *судьба* именно слово *destinée*. А вот что значит выражение «не полагается иметь переводных эквивалентов», непонятно уже мне. «Ключевые» слова (т. е. слова с нетривиальными презумпциями), как и любые другие, могут иметь аналоги в других языках; у этих аналогов не будет в точности того же набора презумпций, но они могут использоваться для перевода, если эти презумпции несущественны для содержания сообщения. Более того, в работе Вежбицкой, о которой идет речь, сравниваются русское слово *судьба*, польское *los*, немецкое *Schicksal*, итальянские *destino* и *sorte*, французские *destin* и *sort*, английские *fate* и *destiny*, причем все эти слова признаются «ключевыми» для соответствующих языков и обслуживаемых ими культур. Ясно, что никакое сопоставление было бы невозможно, если не видеть сходства в семантике соответствующих выражений.

Любое содержательное обсуждение русского слова *судьба* должно учитывать, что это слово имеет по меньшей мере два значения: (1) 'таинственная сила, управляющая жизнью человека' (*рок*); (2) 'то, какую форму приобретает жизнь человека' (*доля, участь*); кроме того, это слово часто употребляется в составе устойчивого оборота *не судьба*, проанализированного В. Ю. Апресян [Апресян 2006]. Именно частотность слова *судьба* иногда приводит к появлению стереотипного представления о «фатализме» русских. При поверхностном взгляде могло бы создаться впечатление, что Вежбицка сама находится в плену этого стереотипа, не учитывая того, что «фаталистичное» первое значение как раз не очень частотно. Но, во-первых, носители стереотипов обычно не проводят семантического анализа и разбиения на значения: стереотип может поддерживаться самим фактом частотности слова, на котором стереотип базируется. Во-вторых, А. Вежбицка никогда не придавала большого значения таким ярлыкам, как «фатализм»: они не являются элементами «естественного семантического метаязыка» и не используются в толкованиях. Наконец, идею, отчасти родственную «фатализму», можно усмотреть в обороте *не судьба*, хотя, конечно, точнее говорить о нем как о формуле «примирения с действительностью», относящегося к числу сквозных мотивов русской языковой картины мира.

Можно ли описать все названные явления, не прибегая к понятию «языковая картина мира»? По-видимому, можно; характерно, что, за исключением упомянутой выше статьи [Вежбицкая 2008], А. Вежбицка это понятие практически не использует (соответствующее сочетание она упоминает только в цитатах из Ю. Д. Апресяна). Кстати, не пользуется она также и понятиями «пресуппозиция», «коннотация» и т. п., не являющимися

элементами ЕСМ (соответствующие смыслы в ЕСМ выражаются оборотами «все люди знают...», «многие люди могут сказать...»). Однако очевидно, что критика в статье А. Павловой и М. Безродного относится вовсе не к терминологии и что ЕСМ Вежбицкой и Годдарда их также не устраивает.

Знаменательно, что А. Павлова и М. Безродный как-то не обращают внимания на тот очевидный факт, что русский язык принадлежит к языкам «европейского стандарта» и, как следствие, имеет с другими языками «европейского стандарта» гораздо больше общих черт, чем различий. По-видимому, инструментарий семантического анализа, который был известен во времена Б. Уорфа, вообще не позволял обнаружить какие бы то ни было различия языковых картин мира разных языков «европейского стандарта», и лишь методы современной семантики позволили некоторые из таких тонких различий выявить. К настоящему времени из языков «европейского стандарта» больше всего мы знаем об английской, русской и польской языковых картинах мира, да и в отношении этих языков сведения далеко не полны. Но и того, что мы знаем, довольно, чтобы с уверенностью говорить: ни о каком «особом» месте русского языка на фоне других европейских языков говорить нет оснований (точнее, есть черты, присущие только русскому языку, но, вероятно, то же относится к любому другому языку).

Характеризуя методы Вежбицкой и ее российских коллег, А. Павлова и М. Безродный пишут: «...мишень рисуется вокруг вонзившейся стрелы». Однако, как мы видели, стрелы, выпущенные в статье А. Павловой и М. Безродного, либо просто улетают куда-то вдаль, либо поражают изобретенные ими же фантомы, а сама статья оставляет чувство недоумения.

Это недоумение только усиливается при знакомстве со вставками, которые внесены в новую редакцию их статьи. Зачем-то цитируется длинный абзац из книги В. Н. Малышева об «одиночестве» русских и противопоставленности «русского мира» всему остальному миру — что А. Павлова и М. Безродный хотели иллюстрировать этой цитатой, осталось непонятно. Или они пишут: «Эпоха „суверенной демократии“ учит не удивляться выходу в свет пособий по „русской логике“ и „православной арифметике“». Само сочетание «суверенная демократия» было изобретено лет пятьдесят тому назад кем-то из идеологов современной российской власти (скорее всего, Владиславом Сурковым), какое-то время активно обсуждалось и высмеивалось и с тех пор почти полностью забыто. Зачем понадобилось его реанимировать и какое отношение оно имеет к теме статьи, остается столь же непонятным. Более того, непонятна и связь «суверенной демократии» и выхода в свет названных пособий: кажется, что пособия пишутся индивидуальными авторами и какие бы то ни было демократические процедуры (будь то «суверенные» или «не суверенные») к их написанию отношения не имеют. Что же касается до самих пособий, трудно по названию понять, о чем в них говорится. Скажем, сочетание «русская логика» кажется забавным, но ему можно придать разумный смысл, причем не один. Так, сходное по фор-

мальной структуре сочетание *Russian linguistics* в названии журнала указывает на науку о русском языке; это же сочетание неоднократно используется в английском переводе статьи А. Павловой и М. Безродного как переводной эквивалент выражения *российская лингвистика*. Слово *русский* в сочетании *русская логика* могло бы быть употреблено иронически, как в устаревшем в силу «неполиткорректности» выражении *женская логика*. В любом случае это имеет мало отношения к заявленной теме статьи.

Итак, «обзор» А. Павловой и М. Безродного дает полностью искаженное представление о современной российской лингвистике. Помимо множества фактических неточностей, в статье намеренно размываются все критерии: сочинения акад. Фоменко и труды акад. Апресяна ставятся в один ряд; цитаты из серьезных лингвистических работ (пусть иногда спорные) перемежаются беспомощными в лингвистическом отношении рассуждениями. Таким образом, в целом статья А. Павловой и М. Безродного может рассматриваться как проявление распространившейся в последнее время постмодернистской «игры на понижение».

Мне трудно сказать, насколько недовольство А. Павловой и М. Безродного положением дел в современной российской лингвистике можно рассматривать как один из многочисленных примеров ламентаций на тему «раньше было лучше». Со всех сторон нам сообщают, что по сравнению с советским временем и уровень жизни упал, и с нравственностью дело обстоит не лучшим образом, и грамотность снижается, и язык портится, и, как теперь оказывается, и лингвистика зашла куда-то не туда. Мне же вспоминаются знаменитые строки Алексея Толстого, написанные почти 140 лет тому назад:

Брось же, Миша, утрашенья,
У науки нрав не робкий,
Не заткнешь ее теченья
Ты своей дрянною пробкой!

ЛИТЕРАТУРА

Апресян В. Ю. Семантика и прагматика судьбы // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии : тр. Междунар. конф. «Диалог 2006» (Бекасово, 31 мая—4 июня 2006 г.). — М., 2006.

Апресян Ю. Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. — М., 1995.

Беликов В. И. Учебник русского (Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира: Сборник статей) // Отечественные записки. 2006. № 2.

Белоусова В. Lost in translation // Новый мир. 2011. № 2.

Вежбицкая А. Имеет ли смысл говорить о «русской языковой картине мира»? (Патрик Серио утверждает, что нет) // Динамические модели: слово, предложение, текст. — М., 2008. С. 179; 185.

Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур. — М., 2007.

Гладкова А. Русская культурная семантика: эмоции, ценности, жизненные установки. — М., 2010.

Гухман М. М. Э. Сепир и «этнографическая лингвистика»: об одной из реакционных концепций в современном американском языкознании // Вопросы языкознания. 1954. № 1.

Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. — М., 2005.

Келли К. [пер. с англ. М. Маликовой] Рец. на книги: Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005 и Гудков Л. Негативная идентичность. М., 2004 // Антропологический форум. 2007. № 6.

Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации: сопоставительное исследование английских и русских лингвокультурных традиций. — М., 2009.

Левонтина И. Б. «Посмотри на русского человека, найдешь его задумчива»: откуда есть пошла русская душа? // Полит.ру. 2005. URL: <http://www.polit.ru/culture/2005/11/28/russoul.html>.

Левонтина И. Б. Русский со словарем. — М., 2010.

Овсянников В. В. Американские проблемы в русском менталитете // Вісник СумДУ. 2006. № 11 (95). Т. 1.

Павлова А. В., Безродный М. В. Хитрушки и единокор: образ русского языка от Ломоносова до Вежбицкой // Toronto Slavic Quarterly. 2010. № 31. URL: <http://www.utoronto.ca/tsq/31/bezrodny31.shtml>.

Плунгян В. А., Рахилина Е. В. «С чисто русской аккуратностью...» (к вопросу об отражении некоторых стереотипов в языке) // Московский лингвистический журнал. 1996. Т. 2.

Словарь русского языка. Т. 1. — М., 1981.

Соловьев В. М. Тайны русской души: вопросы; ответы; версии : кн. для чтения о русском национальном характере для изучающих русский язык как иностранный. — М., 2002.

Шмелев А. Д. Новомосковская школа концептуального анализа // Научное наследие академика Ф. Ф. Фортунатова и современное языкознание. — Петрозаводск, 2004.

Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира. Модели пространства, времени и восприятия. — М., 1994.

Lakoff G. Women, Fire and Dangerous things: What categories reveal about the mind. — Chicago, 1987.

Pavlova A., Bezrodnyj M. How to Catch a Unicorn? The Image of the Russian Language from Lomonosov to Wierzbicka // Toronto Slavic Quarterly. 2010. № 32. URL: http://www.utoronto.ca/tsq/32/tsq_32_pavlova_bezrodnyj_how_to_catch_a_unicorn.pdf.

Rathmayr R. Pragmatik der Entschuldigungen: Vergleichende Untersuchung am Beispiel der russischen Sprache und Kultur. — Köln usw., 1996.

Wierzbicka A. Understanding cultures through their key words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. — Oxford, 1997.

Wierzbicka A. English: Meaning and culture. — Oxford, 2006;

Wierzbicka A. Experience, Evidence, and Sense: The Hidden Cultural Legacy of English. — Oxford, 2010.

Wierzbicka A. Lexicography and conceptual analysis. — Ann Arbor, 1985.

Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. А. П. Чудинов